

Книга за книгой



ВАС. ГРОССМАН

СЫН КОМИССАРА



Детиз. 1946



ВАС. ГРОССМАН

СЫН КОМИССАРА

Рисунки Г. Балашова

*Государственное Издательство Детской Литературы
Министерства Просвещения РСФСР
Москва 1946 Ленинград*

В. С. ГРОССМАН

Писатель Василий Семенович Гроссман родился в 1905 году. Учился в Киевском реальном училище. В 1929 году окончил физико-математический факультет I МГУ по химическому отделению. Работал в Донбассе на шахтах и на заводе, потом в Москве заведовал лабораторией на фабрике.

Печататься В. Гроссман начал в 1934 году — первый рассказ был опубликован в «Литературной газете». С 1936 по 1941 год писал роман «Степан Кольчугин» — о детстве и юности донбасского шахтера-большевика, о его пути в революции.

В 1941 году В. Гроссман был мобилизован в Красную Армию и всю Великую Отечественную войну был военным корреспондентом газеты «Красная звезда». В дни войны он создал две книги, которые заняли видное место в советской литературе последних лет: повесть «Народ бессмертен» и книгу очерков «Сталинград». Произведения эти получили известность не только у нас, но и далеко за пределами нашей страны.

В этой книжке напечатан отрывок из повести «Народ бессмертен».

Для среднего возраста

Ответств. редактор К. Пискунов. Худож. редактор С. Садомская.
Технич. редактор И. Румянцева. Подписано к печати 6/VII 1948 г.
5 н. л. (0,8 уч.-над. л.). Тираж 75 000 экз. А08373. Зак. № 2679.
Цена 80 коп.

Фабрика детской книги Детгиза. Москва, Суцеский вал, 49.



Мария Тимофеевна Чередниченко, мать дивизионного комиссара, темнолицая семидесятилетняя старуха, уезжала из родной деревни. Соседи звали ее ехать днем, но Мария Тимофеевна собиралась напечь на дороге хлеба, и он должен был поспеть лишь к ночи. А утром уезжал председатель колхоза, и она решила ехать с ним.

Внук, одиннадцатилетний Леня, приехал гостить к ней в деревню после окончания занятий в киевской школе, недели за три до войны. С начала войны она не получала писем от сына и решила взять внука в Ворошиловград, к родителям его покойной матери, умершей три года тому назад.

Дивизионный комиссар уже несколько раз просил мать приехать к нему — в большой киевской квартире ей бы жилось удобнее и легче. Она ежегодно ездила к нему гостить, но обычно проводила у сына не больше месяца. Сын возил ее кататься по городу, она была два раза в Историческом музее и любила театр. Посетители театра с интересом и почтением смотрели на вы-

сокую строгую старуху крестьянку с морщинистыми трудовыми руками, сидевшую в первом ряду партера. Сын приезжал обычно перед последним действием — он освобождался очень поздно. Они шли по фойе рядом, и все расступались, давая им дорогу — прямой строгой старухе с черным платком на плечах и такому же темнолицему, строгому, похожему на нее лицом военному в высоком звании дивизионного комиссара. «Мать и сын», негромко говорили женщины оглядываясь.

В 1940 году Мария Тимофеевна болела и не приехала к сыну. Он в июле, по дороге на маневры, заехал к ней на два дня. И при этой встрече сын просил Марию Тимофеевну переехать в Киев. После смерти жены жилось ему одиноко, и он все боялся, что Леня растет без женской ласки. Да и огорчало его, что мать в свои семьдесят лет продолжает работать в колхозе, носит от дальнего колодца воду, сама рубит дрова.

Она молча слушала его рассуждения, поила его чаем в саду под яблоней, которую при нем посадил отец, а перед вечером пошла с ним на кладбище к могиле отца. На кладбище она сказала:

— Разве я могу отсюда уехать? Тут я и умру. Ты уж прости меня, сынок.

И вот она собралась уходить из родного села. Накануне отъезда она пошла к знакомой старухе. Внук пошел вместе с ней. Они подошли к хате и увидели, что ворота настежь открыты, во дворе стоял одноглазый старик Василий Карпович, колхозный пастух. Возле него, опустив хвост, юлила рыжая хозяйская собачка.

— Та, Тимофеевна, уже уехали, — сказал Василий Карпович. — Выны думали, вы с утра поехали.

— Нет, мы завтра поедем, — сказал Леня. — Нам председатель дал лошадей.

Закат солнца освещал начавшие розоветь помидоры,

сложенные заботливой рукой хозяйки на подоконнике. Солнце освещало пышные цветы, радовавшиеся в палисаднике, фруктовые деревца, обмазанные белым, с подпорочками под ветвями. На перекладине забора лежала аккуратно выструганная рогулька, которой запирались ворота, в огороде среди зеленой ботвы желтели гарбузы, виднелись созревшие початки кукурузы, стручки бобов и гороха, кругло смотрел черноглазый подсолнух.

Мария Тимофеевна прошла в покинутый дом. И здесь все носило следы мирной жизни, любви хозяев к чистоте и к цветам: на подоконниках стояли курчавые розочки, в углу — большой темнолиственный фикус, на комодке — лимон и два вазона с тоненькими ростками финиковой пальмы. И все, все в доме — и кухонный стол с черными круглыми следами горячих чугунов, зеленый подвесной умывальник с нарисованной на нем белой ромашкой, буфетик с чашечками, из которых никто никогда не пил, темные картины на стенах, — все, все говорило о долгой жизни, шедшей в этой брошенной хате, о деде, бабушке, о детях, оставивших на столе учебник «Родная литература», о тихих зимних и летних вечерах. И тысячи таких белых украинских хат стояли пустыми, и хозяева, строившие их, взрастившие вокруг них деревья, шли, хмурясь, пыля сапогами, по дорогам, ведущим на восток.

— Дедушка, а собаку оставили? — спросил Ленья.

— Не захотели его взять, я его буду годувать, — сказал старик и заплакал.

— Ну, чого плакать? — спросила Мария Тимофеевна.

— А, «чого, чого»! — сказал старик и махнул рукой.

И этим тяжелым движением руки с черными, изуродованными трудом ногтями выразил он, как рухнула вся жизнь.

Мария Тимофеевна торопясь, пошла к дому, и бледный, худенький Леня едва поспевал за ней и спрашивал:

— Бабушка, а как ты думаешь, есть у курицы позвоночный столб?

— Цыть, Ленечка, цыть! — говорила она.

Как горько казалось ей проходить по этой деревенской улице! Ведь по этой улице везли ее когда-то венчаться в церковь. По этой улице шла она за гробом отца, матери, мужа. И завтра ей предстояло сесть на подводу среди узлов с торопливо собранным скарбом, покинуть дом, где прожила она хозяйкой пятьдесят лет, где растила детей, куда приехал к ней тихий, понятливый и жалостливый внучек.

А в деревне, освещенной теплым вечерним солнцем, в белых хатах, среди цветников и в милых садах шопотом говорили о том, что красных войск нет до самой реки и что старик Котенко, уехавший во время коллективизации в Донбасс, а затем вновь вернувшийся, велел своей старухе мазать белой крейдой хату, как перед пасхой. И вдовая бабка Гуленьская стояла у колодца и всем говорила:

— Кажуть, вин полоскы наризае. Кажуть люды, вин в бога вируе.

И слухи, темные, нечистые, пошли по деревне. Старики, выйдя на улицу, смотрели в сторону, откуда каждый вечер в розовой пыли заката возвращалось с выпаса стадо; оттуда, из-за дальнего леса, из дубовой рощи, где обычно много было грибов, должен был появиться герман. Бабы, плача, всхлипывая, рыли в садах и под домами ямы, укладывали туда бедное свое добро — одеяла, валенки, посуду — и оглядывались на запад. Запад был ясен и тих.

Леня спросил:

— Бабушка, мы успеем уехать?

— Успеем, Ленечка. — ответила Марья Тимофеевна.

— Бабушка, а почему мы отступаем все время? Разве немцы сильнее?

— Ты спи, Ленечка. — сказала Марья Тимофеевна. — Завтра поедем, только светать начнет. И я на часок прилягу, отдохну, а потом собираться буду. Дышать мне трудно, словно камень на грудь положили. Снять его хочется, и нет сил снять его.

— А папу не убили, бабушка?

— Что ты, Леня! Твоего папу не убьют. Он сильный.

— Сильней Гитлера?

— Сильней, Ленечка. Он мужиком был, как дедушка наш, а теперь генерал. Он умный. Знаешь, какой умный!

— А папа все молчит, бабушка. Посадит меня на колени и молчит. А раз мы с ним вместе песни пели.

— Спи, Леня, спи.

— А корова пойдет с нами?

Никогда Мария Тимофеевна не испытывала такой слабости, как в этот день. Дела было много, а сила вдруг вся ушла, и почувствовала она себя дряхлой, слабой.

Она постелила на лавку ватное одеяло, положила подушку и легла. Было жарко от печи. Горячие хлебы, вынутые из печки, золотые, словно солнце, пахли приятно, сладко, и от них шло тепло.

Неужели в последний раз вынула она из своей печи хлебы, неужели не будет она больше есть хлеб из своей пшеницы? Мысли путались в ее голове.

Вот в детстве так лежала она на теплой печи, на

отцовском мохнатом кожухе, и смотрела на поляныщи, вынутые матерью из печи. «Манька! Сидаты иды», звал ее дед. Где сын теперь? Жив ли он? Как добираться? «Манька, а Манька!» позвала ее сестра, и она босыми худыми ножками пробежала по прохладному глиняному полу. Портреты все нужно взять, фотографии снять со стены. Цветы останутся. Деревья фруктовые останутся. И могилы все останутся. Не пошла она на кладбище проститься. И кошка останется. Рассказывают колхозники, что в сожженных деревнях остаются одни лишь кошки. Собаки уходят с хозяевами, а кошки, привычные к дому, не хотят уходить. Ох, как жарко, как трудно дышать, какая тяжесть в руках! Руки точно сейчас почувствовали ту великую работу, которую старуха сделала в свою семидесятилетнюю жизнь. Слезы текут по щекам, а руки тяжело поднять, и слезы текут, текут. Вот так она плакала, когда лисица утащила из стада самую жирную гусыню. Вечером она пришла домой, и мать сказала печально: «Манька, а где гуска наша?»

Она плакала, и слезы текли по щекам, и отец, суровый, всегда молчаливый, подошел к ней, погладил по голове, сказал: «Не плачь, доню, не плачь». И ей казалось, что и сейчас она плачет от сладкого счастья, как тогда, когда почувствовала на своих волосах ласковую шершавую руку отца.

В этот ее последний вечер словно исчезло время, и в хату, которую она должна была покинуть, вновь пришло ее детство, и девичество, и первые годы замужней жизни. Она слышала плач своих грудных детей и веселый хитрый шопот подруг, она видела сильного, молодого черноволосого мужа, он угощал за столом гостей, и она слышала звяканье вилок, хруст соленых огурцов, крепких, как яблоки. Это бабка научила ее солить огурцы. Гости запели, и она подтягивала им молодым своим голосом и чувствовала на себе взгляды мужиков, и муж

гордился ею, и, ласково покачивая головой, старик Афанасий говорил: «Ой, то Марья...»

Должно быть, она заснула. Потом ее разбудил шум, необычайный, дикий, такого шума никогда не было в ее родном селе. Проснувшийся Леня звал ее: «Бабушка, бабушка, вставай скорей! Бабушка, я тебя очень прошу, не нужно спать!» Быстро подошла она к окошечку, отодвинула занавеску, посмотрела.

Ночь ли то была, или пришел новый страшный день? Все стало красно-розовым, словно всю деревню — и низенькие хаты, и стволы берез, и сады, и заборы — окропило кровавой водой. Слышались выстрелы, гудение автомобильных моторов, слышались крики. Немцы ворвались в деревню. Вошла орда... Так вошла орда, пришедшая с запада, — с совершенными радиопередатчиками, с аппаратурой из никеля, стекла, вольфрама, молибдена, с шинами на машинах, сделанными на заводах синтетического каучука. И, словно стыдясь совершенных машин, созданных вопреки им европейской наукой и трудом, фашисты намалевали на них символы своей жестокой дикости — медведей, волков, лис, драконов, человеческие черепа с перекрещенными костями.

Мария Тимофеевна поняла, что пришла ее смерть.

— Леня, — сказала она, — беги к пастуху, к Василию Карповичу, он тебя выведет, он пройдет с тобой к папе.

Она помогла внуку одеться.

— Где моя шапочка? — спросил он.

— Теперь тепло, пойди без шапочки, — сказала она.

Он, словно взрослый, сразу понял, почему не нужно надевать матросскую курточку с золотыми пуговицами.

— Наган и рыболовные крючки можно взять? — тихо спросил он.

— Бери, бери. — И она передала ему игрушечный черный револьвер.

Мария Тимофеевна обняла внука и поцеловала его в губы. Она сказала ему:

— Иди, Ленечка, скажи отцу: кланялась тебе маты низко, до самой земли. А ты, внучек, помни бабу, не забывай меня.

Он выбежал из хаты в тот момент, когда немцы шли к их двору.

— Огородами беги, огородами! — крикнула ему вслед бабушка.

Он бежал, и, казалось, слова ее прощания навеки утонули в смятенной детской душе. И не знал он, что слова эти вновь возникнут в памяти и никогда уже не забудутся им.

Мария Тимофеевна встретила немцев на пороге хаты. Она увидела, что за спиной у них стоит старик Котенко. И даже в эту страшную минуту Марию Тимофеевну поразили глаза старика: жадно, пытливо смотрели на нее, искали в лице ее растерянности, страха. Высокий худой немец с запыленным, грязным и потным лицом спросил ее по-русски, старательно, словно печатая крупными азбучными буквами:

— Вы мать комиссара?

И она, чуя смерть, еще больше выпрямила свой прямой стан, сказала протяжно и тихо:

— Я его маты.

Немец посмотрел медленно и внимательно ей в лицо, посмотрел на портрет Ленина, потом поглядел на печь, на разобранную постель. Стоявшие за его спиной солдаты оглядывали хату, и старуха обострившимся до прозрения взором ловила их быстрые, деловые взгляды, обращенные к кринке молока на столе, к вышитым красными петухами полотенцам, к пшеничным хлебам, к куску сала, наполовину завернутому в чистую холщевую тряпицу, к бутылке вишневой наливки, горевшей рубиновыми искрами на подоконнике.

Один из солдат сказал что-то негромко и добродушно, остальные рассмеялись. И опять Мария Тимофеевна поняла своим обострившимся до святого прозрения чутьем, о чем говорили солдаты. Это была простая солдатская шутка по поводу хорошей еды, попавшейся им. И старуха содрогнулась, вдруг поняв то страшное равнодушие, которое немцы испытывали к ней. Их не интересовала, не трогала, не волновала великая беда семидесятилетней женщины, готовой принять смерть. Просто старуха стояла перед хлебом, салом, полотенцами, полотном, а им хотелось есть и пить. Она не возбуждала в них ненависти, ибо она не была для них опасна. Они смотрели на нее так, как смотрят люди на кошку, теленка. Она стояла перед ними, ненужная старуха, для чего-то существовавшая на жизненно необходимом для немцев пространстве.

Нет и не было на земле ничего страшней, чем такое равнодушие к людям. Немцы двигались на восток, отмечая на картах маршруты, записывая в дневники количество съеденного меда, описывая дожди, купания в реках, лунные ночи, беседы с товарищами. Очень немногие из них писали об убийствах в бесчисленных деревнях с трудными, быстро забываемыми названиями. Это казалось законным и скучным делом.

— Где сын комиссара? — спросил немец.

— А ты с дитьмы тоже воюешь, гад? — спросила Мария Тимофеевна.

...Она осталась лежать на пороге хаты, и немецкие танкисты старательно переступали через лужу черной крови, ходили взад и вперед, вынося вещи, оживленно толкуя между собой:

— Хлеб совсем еще теплый.

— Если бы ты был порядочным парнем, то из пяти полотенец хотя бы одно дал мне. А? Как ты считаешь? У меня ведь нет ни одного такого, с петухами.

Пастух Василий Карпович шестые сутки шел с Леной Чередниченко по деревням, занятым немцами. Мальчик сильно устал, сбил себе в кровь ноги. Он спрашивал у старика: «Почему кровь идет из ног? Ведь мы все время идем по мягкой дороге!» Кормились они в пути хорошо — бабы давали им в досталь молока, хлеба, сала.

В последнюю ночь они остановились ночевать в хате, где жила женщина с двумя дочерьми. Девушки учились в десятом классе, они знали алгебру, геометрию, немного французский язык. Мать одела дочерей в рваное тряпье, руки и лицо у них были запачканы землей, волосы нечесаны и спутаны. Делалось это для того, чтобы немцы не обидели красивых девушек. И девушки, смеясь, поглядывали на тряпье, прикрывавшее их, и утешали мать: «Не плачьте, мамо, не може цего быть, шо стало. Адольф згыне, як Наполеон згнув».

Они узнали, что Ленья учился в киевской школе в третьем классе, и устроили ему экзамен: задавали ему задачи на умножение и деление.

Говорили они все шопотом и поглядывали на окна — невольно казалось, что при немцах в деревнях детям нельзя говорить об арифметике. И ту бумажку, на которой Ленья решал задачку, одна из девушек, кареглазая Паша, мелко-мелко изорвала и бросила в печку.

Лене постелили на полу. Он, несмотря на усталость, не мог уснуть. Разговор о школе очень взволновал его. Ему вспомнился Киев, комната с игрушками, вспомнилось, как отец научил его играть в шахматы и по вечерам иногда приходил к нему, и они играли. Ленья хмурился, морщил нос и, подражая отцу, поглаживал подбородок. А отец смеялся и говорил: шах и мат.

А рядом с этими воспоминаниями возникали другие:

о пожаре, об убитой девочке, которую они видели в поле, о виселице на площади в еврейском местечке, о гудении самолетов. Они мешали друг другу, эти воспоминания: то казалось — не было школы, товарищей, дневного кино на Крещатике, то думалось — сейчас подойдет к его кровати отец и погладит по волосам и чувство покоя, счастья наполнит все его утомленное маленькое тело.

Отец для Лени был великим человеком. Леня безошибочным детским чутьем ощущал духовную силу отца. Он видел то уважение, которое проявляли к отцу товарищи военные, он замечал, как все они, сидя за столом, умолкали и поворачивали головы, когда раздавался спокойный, медленный голос отца. И этот одиннадцатилетний мальчик, беспомощный, бредущий наугад среди горящих деревень, запруженных наступающими войсками немецкой армии, ни на секунду не поколебался в своих представлениях: отец был таким же сильным, мудрым, каким помнил он его в мирные времена. И когда он шел полем, когда засыпал в лесу или на сеновале, он ясно знал, что отец идет ему навстречу, что отец ищет его. Он засыпал, а до слуха его доносился негромкий голос Василия Карповича, беседовавшего с хозяйкой...

**
*

Леня проснулся и сразу же сказал:

— Дедушка, нам, верно, пора итти.

Старик не отозвался. Леня быстро огляделся — Василия Карповича не было в хате, его мешочек лежал на лавке. Мальчик спросил:

— А где дедушка?

У окна сидела хозяйка, смотрела на своих спящих дочерей, и слезы обильно текли по ее щекам.

— Забрали, проклятые, ночью забрали, — сказала

она. — Сегодня деда забрали, завтра дочек моих заберут... Пронали мы, пропали!

Мальчик вскочил.

— Кто увел, куда? — спрашивал он всхлипывая.

— Кто ж увел, известно, — сказала хозяйка и начала ругать немца: — Чтоб у него очи повылазили, чтоб он не дождался своих детей увидеть, чтоб их всех холера передушила, чтоб у него руки и ноги поотсыхали!

Потом она сказала:

— Ты не плачь, хлопчик, мы тебя не выгоним, останешься у нас, будем тебя годувать.

— Нет, не хочу я оставаться, — сказал Леня.

— Куда ж ты пойдешь?

— Пойду к папе.

— Та подожди ты! Вот самовар вскипит, посидаешь с нами, тогда побачим, куда тебе итти.

Леня испугался, что хозяйка не отпустит его. Он тихоенько встал и подошел к двери.

— Та куда ж ты? — спросила хозяйка.

— Я на минуточку, — ответил он, вышел во двор, оглянулся на дверь и бросился бежать.

Он бежал по деревенской улице мимо черных семи-тонных грузовиков, доходивших своими высокими бортами до соломенных крыш, мимо походной кухни, у которой повар разводил огонь, мимо пленных красноармейцев с мертвенно-серыми лицами, сидевших без сапог, в окровавленном, грязном белье за плетнем колхозной конюшни. Он бежал мимо желтых стрел-указателей, расписанных цифрами и черными готическими буквами. В его голове все спуталось. Ему казалось, что он убегает от старухи хозяйки и ее дочерей, решавших с ним арифметические задачи. Хозяйка будет греть самовар и заставит его с утра до вечера пить чай в запертой скучной хате.

Он добежал до ветряной мельницы и остановился.

Дорога разветвлялась: одна желтая стрела показывала в сторону деревни, другая — по широкой дороге со множеством автомобильных и танковых следов. Леня пошел по узкой полевой дороге, на которую не указывали немецкие стрелы, в черневшему вдаль лесу. По этой дороге давно уж не ездили; должно быть, весной еще проехала по ней крестьянская телега, и следы колес глубоко отпечатались в закаменевшей глинистой земле. Через час он подошел к опушке леса. Ему хотелось есть, пить, солнце изнурило его.

В лесу ему стало страшно: то казалось, немцы следят за ним из-за деревьев, ползут из кустарников, то ему представлялись волки и черные дикие кабаны из зоологического сада, с длинными клыками и приподнятой верхней губой. Ему хотелось крикнуть, позвать, но он боялся выдать себя и шел молча. Иногда страх и отчаяние бывали так невыносимо остры, что он вскрикивал и бежал. Он бежал, не разбирая дороги, пока не начинал задыхаться. Тогда он садился, отдыхал немного и снова шел дальше. А минутами его охватывала радостная уверенность: ему казалось, что отец идет своим широким, спокойным шагом, зорко вглядывается в чащу и все ближе, ближе подходит.

В одном месте он нашел много ягод и принялся собирать их. Потом он вспомнил книжку про медведей, которые любят ходить на поляны собирать с кустов малину, и поспешил снова в лес.

Вдруг он увидел меж деревьев человека. Он остановился, прижавшись к толстому стволу, и всматривался. Человек стоял с винтовкой, поглядывал в ту сторону, где притаился мальчик, — очевидно, он услышал звук шагов. Леня смотрел, смотрел — густая тень мешала разглядеть стоявшего. Радостный, пронзительный крик разнесся меж деревьев. Красноармеец вскинул винтовку, а мальчик бежал к нему и кричал:

— Дядя... дядя... Товарищ... Не стреляйте, это я, я, я!
Он подбежал к красноармейцу и, плача, схватился руками за его гимнастерку, вцепился в нее так, что пальцы даже побелели.

Красноармеец гладил его по волосам и, качая головой, говорил:

— Где же ты это так ноги разбил?.. Да ты не цепляйся, нешто я тебя в лес гоню? — Он вздохнул и добавил: — Может, и мой так по лесам один бродит...

Вскоре Леня лежал на постели из листьев, накормленный, напоенный, с обмытыми ногами. На нем был надет красноармейский пояс с пристегнутой настоящей кожаной кобурой, в кобуре лежал его жестяной наган. Вокруг сидели командиры, и Леня им рассказывал о немцах.



Цена 80 коп.



**БИБЛИОТЕЧКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА**

на 1946 год:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| В. Маяковский | — Владимир Ильич Ленин. |
| Э. Багрицкий | — Дума про Опанаса. |
| П. Бажов | — Голубая змейка. |
| А. Гайдар | — Пусть светит. |
| С. Голубов | — Дядя Ипат и Чайка. |
| В. Гроссман | — Сын комиссара. |
| Б. Житков | — Дяденька. |
| В. Инбер | — Стихи. |
| Л. Кассиль | — Огнеопасный груз. |
| В. Катаев | — Флаг. |
| С. Ковпак | — В Кремле. |
| А. Кожевников | — У Каменной Гривы. |
| М. Пришвин | — Дедушкин валенок. |
| А. Сурков | — Песня смелых. |
| Р. Фраерман | — Подвиг в майскую ночь |

и другие произведения
советских писателей.